ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. А. БУДАГОВ

ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИ ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ РАЗВИТИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКА?

1. Постановка вопроса

У самых разнообразных лингвистов мы часто читаем о том, что «язык действует экономно». Слово и словосочетания *экономно*, *принцип экономии*, *закон экономии* то и дело встречаются на страницах лингвистических изданий разных стран мира. Пишутся даже статьи и книги о принципах лингвистической экономии, хотя никто толком не знает, что это такое и как следует понимать слово *экономия* (или термин *экономия*?) по отношению к такому сложнейшему феномену, каким является язык.

Само понятие об «экономии языка» возникло, как это будет показано в следующем разделе, давно, но его широкое применение наблюдается в последние двадцать — двадцать пять лет, особенно у тех представителей науки, которые занимаются разработкой методики «подачи языка на приборы», методикой чисто количественного изучения языковых категорий. Не менее широко словосочетание «экономия языка» встречается и у ученых, озабоченных созданием всевозможных искусственных языков для тех или иных целей. Об «экономии языка» стали писать и лингвисты, исследующие естественные языки народов мира. Все это говорит о том, что понятие об «экономии» нуждается в лингвистическом анализе.

С самого начала следует расчлнить проблему. В последующих строках речь будет идти не о том, насколько «экономны» отдельные слова, словосочетания или предложения в отдельных языках, а об «экономии» как об общем понятии, на основе которого стремятся объяснять важнейшие процессы развития и функционирования языка. Различие между двумя видами «экономии» надо подчеркнуть тем сильнее, чем чаще они практически смешиваются и даже отождествляются. Говорят, например, — «вот это аббревиатура такого-то слова или выражения», следовательно, язык действует по принципу «экономии». Между тем подобное заключение несостоятельно. «Сокращаясь» в одних своих сферах, язык обычно «расширяется» в других своих сферах. Поэтому отмеченное заключение — результат антисистемного понимания языка.

Расчлнить проблему необходимо и по другим соображениям.

Нередко приходится слышать, что разговорный стиль языка «экономнее» письменного стиля. Язык газеты «экономнее» языка журнала. Телеграфное сообщение «экономнее» сообщения, посланного простым или заказным письмом. Диалог «экономнее» монолога, язык хорошего стилиста «экономнее» языка плохого стилиста и т. д. Все эти суждения, сами по себе часто справедливые, не имеют отношения к общей проблеме, намеченной в самом начале настоящего изложения. В только что приве-

денных разграничениях речь идет о различных жанрах и стилях, о различных условиях, в которых протекает коммуникация, наконец, о различных способностях и о различной профессиональной «умелости» людей, прибегающих к тому или иному виду коммуникации. Материалы такого рода не могут, однако, помочь решить более общий вопрос об «экономии» как источнике, будто бы определяющем функционирование языка вообще. Сторонники подобных рассуждений сами невольно противопоставляют «экономные» стили и «экономные» коммуникации стилям и коммуникациям «неэкономным», теоретически не осмысляя при этом вопроса о том, что же типично для языка и как следует отличать «экономную» данной ситуации от «экономии» общих ресурсов и общих возможностей языка.

В чем все же трудность постановки вопроса об «экономии языка»? В свое время Л. В. Щерба, вслед за многими другими выдающимися лингвистами, анализируя «сравнительное достоинство отдельных литературных языков», отмечал свойственное им «богатство наличных средств выражения как для общих, так и для частных понятий»¹. Именно это богатство определяет «достоинство» любого развитого литературного языка: чем богаче язык, тем очевиднее и его достоинство. Эту особенность литературного языка можно распространить и на язык в целом, хотя в общенародной речи подобное богатство обычно выступает в менее кодифицированном, в менее «обработанном» виде, чем в языке литературном. Возникает вопрос о том, как же богатство языка сочетается с его «экономией» и как теоретически следует осмыслить сочетание такого рода?

При поверхностном рассмотрении языка его огромное богатство может показаться излишним, ненужным, избыточным. Между тем такие свойства языка, как широкая синонимичность (лексическая и синтаксическая), не менее широкая стилевая и стилистическая многоплановость, подвижность лексических регистров лексики, умение разными «приемами» воздействовать на окружающих в процессе коммуникации, в особенности, когда говорящим известны лингвистические «тайны», — все эти свойства органически присущи самому языку, и прежде всего его литературной норме.

Как же следует относиться к подобным «излишества»? Ответ на этот вопрос потребует рассмотрения хотя бы небольшого материала (ограничение неизбежно в рамках одной статьи) и краткой справки из истории вопроса.

2. Из истории вопроса

Мысль о том, что языковая структура должна определяться «экономным распределением» между ее частями получила достаточно широкое распространение уже в XVII—XVIII вв. в связи с обсуждением различных проектов создания искусственных языков. В 1629 г., в частности, Ренэ Декарт писал аббату Мерсеню, что искусственный язык должен иметь лишь «...один способ спряжения, склонения и построения слов». Такой язык «...вовсе не имел бы форм... неправильных, возникающих вследствие привычки к искажению. Изменения глаголов и форм словообразования производились бы при помощи приставок, добавляемых к началу или концу коренных слов. Эти приставки должны находиться в общем словаре. Средние люди (*les esprits vulgaires*), пользуясь этим словарем, смогут свободно овладеть подобным языком в течение шести месяцев»². Идея создания искусственного языка, свободно овладеть ко-

¹ Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 121—122.

² Цит. по кн.: Э. Дрезен. В поисках всеобщего языка, М.—Л., 1925, стр. 26.

торым смогут все за несколько месяцев, очень интересовала мыслителей XVII—XVIII вв. Эта идея оказалась настолько заманчивой («язык без слез и без мучений»), что позднее, уже в XIX в., ее частично стали распространять и на языки естественные, стремясь «упростить» их, доказать возможность аналогичных операций и над ними. При этом начали ссылаться на «природу самого языка».

Особенно любопытны в этом отношении усилия английского философа и социолога Герберта Спенсера (1820—1903). Он рассуждал так: в процессе развития по «естественным законам эволюции» язык движется от сложного к простому. Длинные слова становятся короткими, «многословные предложения — предложениями односложными». Англичане когда-то прибегали к построениям типа *we tellen*, теперь же — *we tell* «мы говорим» (окончание утрачено)³. Если же сам язык, как предполагал Спенсер, стремится к упрощениям, то люди, активно воздействуя на язык, могут ускорить этот процесс. Поэтому в области стилистики аналогичный процесс дает о себе знать особенно настойчиво. Хороший стиль — это меньше «... представить идеи так, чтобы они могли быть понятны с возможно меньшим умственным усилием»⁴.

Здесь удивительным образом смешаны самые различные понятия. Уменьше излагать идеи простым и ясным языком («с возможно меньшим усилием») само по себе действительно свидетельствует об отличном искусстве говорящего или пишущего. Больше того. Подобное искусство обнаруживает не только высокую культуру человека, но и высокий уровень развития того языка, которым пользуются говорящие. Все это бесспорно. Но все это не имеет никакого отношения к процессу превращения длинных слов и длинных предложений в короткие слова и короткие предложения, процессу, который будто бы наблюдается в истории языков мира.

В одних современных языках односложных слов может быть сравнительно много (например, в английском), в других — сравнительно очень мало (например, в итальянском)⁵. Но даже в тех случаях, когда в отдельных языках, в определенные периоды их исторического бытования наблюдается процесс превращения многосложных (точнее — многослоговых) слов в двусложные или односложные, подобный процесс, во-первых, обычно ограничен во времени (совершается в одну эпоху и может не совершаться в другую эпоху), и, во-вторых, часто сопровождается противоположным процессом — появлением многосложных (многословных) слов.

Так, например, уже в предыстории французского языка совершился процесс редукции атонических гласных, следующих за ударением (лат. *tabula* > франц. *table* «стол», лат. *prehendere* > франц. *prendre* «брать» и т. д.). Многие слова действительно стали короче. Завершившись в предыстории, этот процесс не только полностью прекратился в исторический период жизни языка, но позднее стал «перекрываться» в литературной норме, в которой возникли многочисленные этимологические дублеты, располагающие по одному «короткому» и по одному «длинному» слову (*raide* «жесткий» — *rigide* «твердый», *le moule* «форма» — *le module* «единица измерения» и пр.). Разумеется, тонкая дифференциация этимоло-

³ Г. Спенсер. Основные начала, Киев, 1886, стр. 171—172 (первое издание книги на английском языке было опубликовано в 1862 г.).

⁴ Г. Спенсер. Соч. II, СПб., 1900, стр. 126. Принцип «экономии» Спенсер переносил и в сферу художественной литературы. Острая и яркая критика этого принципа в художественном творчестве нашего времени дана в книге: Л. С. Выготский, Психология искусства, М., 1968, стр. 254—258, и в статье: Л. И. Тимофеев, Художественный прогресс, «Новый мир», 1971, 5, стр. 240—242.

⁵ S. Battaglia, V. Pernicone, *La grammatica italiana*, Torino, 1951, стр. 39.

гических дублетов наблюдается лишь в литературной норме, но и для французского языка в целом односложные слова не характерны: они встречаются значительно реже, чем слова многосложные и, особенно, двухсложные ⁶.

Проблему «экономии» языка иначе и интереснее ставили младограмматики. В книге Германа Пауля «Принципы истории языка» (1-е изд. — 1880) находим специальную главу «Экономия языковых средств». Однако основные мысли автора на это тему изложены в другой главе под названием «Дифференциация значений» ⁷. Пауль расчленяет проблему. Он допускает существование «всякого рода излишеств» в литературном языке, противопоставляя ему наш «повседневный язык», который стремится избавиться от подобных излишеств. Именно в повседневном языке, как и в общенародной речи, гибнут дублетные образования и устанавливается дифференциация между параллельными формами.

При всей важности отдельных наблюдений и суждений Пауля (нельзя не видеть, как далеко ушел создатель «Принципов» от безапелляционных заявлений Спенсера), все же трудно согласиться с автором в его стремлении резко противопоставить «повседневный язык» и язык литературный. Основа разделения оказалась зыбкой. Хорошо известно, что именно литературный язык стремится к более четкой дифференциации категорий, чем язык повседневный, для целей которого иногда достаточна и приближительность. Между тем у Пауля получалось, что дифференциация форм и категорий больше характерна для языка повседневного, нежели для языка литературного. Вместе с тем проблема дифференциации форм и категорий в языке — это уже совсем другая проблема по сравнению с проблемой сокращения длинных слов и длинных предложений.

Будучи широко образованным лингвистом и тонким знатоком индоевропейских языков, Пауль под влиянием самого материала по существу отходит от проблемы «экономии» языка в ее чисто количественном выражении. Смело и по-новому ставил старую проблему А. А. Потебня, который уже в 1874 г., за шесть лет до Пауля, писал: «...чтобы доказать, что число форм уменьшается, нужно... считать формальные оттенки значений — труд не столь легкий, как счет окончаний». И несколько дальше: «...новые языки вообще суть более совершенные органы мысли, чем древние, ибо первые заключают в себе больший капитал мысли, чем последние» ⁸.

Хотя Потебня иногда ссылаясь на стремление языка к «экономии», он совершенно иначе истолковывал это понятие, чем, например, тот же Спенсер ⁹. Нельзя не удивляться, что уже в 1874 г. русский лингвист подчеркивал, насколько сложнее считать «формальные оттенки значений», чем выводить простое число форм. При такой постановке вопроса Потебня не мог усматривать «экономия» языка в сокращении длины слов или длины предложений, как это делали до него и как это нередко делают и в наши дни.

Любопытно, что в начале текущего столетия В. Вундт критиковал Пауля и других младограмматиков за их, как ему казалось, одностороннюю попытку свести импульсы развития языка к удобству, к упрощению, к «экономии речевых усилий». Вундт обнаруживал в истории языка и противоположные силы, постоянно осложняющие структуру и «психоло-

⁶ W. von Wartburg, *Problèmes et méthodes de la linguistique*, Paris, 1963, стр. 195—197.

⁷ Г. Пауль. *Принципы истории языка*, М., 1960, стр. 301—315.

⁸ А. А. Потебня. *Из записок по русской грамматике*, I—II. 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 55—57.

⁹ По другому поводу прямой полемикой с Г. Спенсером начинается третий том замечательного сочинения А. А. Потебни («Из записок...», III, Харьков, 1899, стр. 2—3).

гию языка»¹⁰. И все же, несмотря на отдельные протесты, младограмматическая концепция «экономии» языка продолжает сохранять свою популярность вплоть до наших дней, хотя в эту концепцию иногда вносятся те или иные поправки и уточнения.

Особую известность принцип «экономии» языка получил в фонетике, а позднее и в фонологии. Поль Пасси в 1890 г., имея в виду звуковую систему французского языка, заявлял: «Язык постоянно стремится освободиться от того, что является лишним и выделить то, что оказывается необходимым». Вслед за Суитом, Пасси называл первую тенденцию «законом наименьшего усилия», а вторую — «принципом экономии»¹¹. Обе эти тенденции Пасси хотел обнаружить в фонетике. Ученый воздерживался от более широкого истолкования самого принципа «экономии».

В 1955 г. с аналогичным истолкованием выступает А. Мартине. Французский ученый подчеркивает, что язык постоянно подвергается действию двоякого рода сил: с одной стороны, язык изменяется, так как потребности людей в выражении различных мыслей и чувств все время увеличиваются и усложняются, а с другой — язык не изменяется, так как сказывается инерция этих же людей, приводящая к общему ограничению лингвистических средств выражения. «Языковое поведение» регулируется, таким образом, принципом наименьшего усилия или принципом экономии¹². Поясняя свой тезис, Мартине пишет: «Термин *экономиа* включает все: и ликвидацию бесполезных различий, и появление новых различий, и сохранение существующего положения. Лингвистическая экономия — это синтез действующих сил»¹³.

Нет никаких оснований придавать подобное всеобъемлющее значение «экономии». Если «экономия» — это термин, то он не может «включать все» уже в силу самого своего терминологического характера. Еще важнее другое: почему «появление новых различий» в языке должно относиться к «экономии»? Ведь возникновение новых дифференциальных признаков на любом уровне языка, в любой его сфере, приводит не к уменьшению, а к увеличению числа категорий, форм, слов, которыми оперирует язык. Подобные единицы бывают не только количественными, но гораздо чаще качественными (число значений и оттенков значений). Как и Пасси, Мартине ставит в один ряд и процесс отмирания «лишнего» и процесс появления нового, сводя тем самым «экономия» к какому-то всеобъемлющему понятию, которое «включает все». Едва ли, однако, языкознание нуждается в подобного рода всеобъемлющем понятии.

Важен и другой вывод. Стоит только отказаться от количественного истолкования лингвистической «экономии», как сам термин «экономия» начинает смешиваться с разнообразными другими терминами и понятиями, которыми оперирует лингвистика (например, такими, как дифференциация языковых значений, появление новых различий в языке, устойчивость старых значений и пр. и т. д.). Мартине невольно сам подтвердил подобное смешение, предложив включить в «экономия» все наличные в языке силы и тенденции.

Шаг назад в сторону количественной интерпретации «экономии» был сделан американским лингвистом Л. Блумфилдом в его книге «Язык» (1-е изд.—1933). Подводя итоги всего своего исследования, он писал: «Даже сейчас ясно, что изменения в языке направлены в сторону укоро-

¹⁰ W. W u n d t, *Völkerpsychologie*, I, 4 Aufl., Stuttgart, 1921, стр. 31 и сл.

¹¹ P. P a s s y, *Etudes sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux*. Paris, 1890, стр. 227—228.

¹² А. М а р т и н е, *Принцип экономии в фонетических изменениях*. М., 1960, стр. 126 (французское изд. книги вышло в 1955 г.).

¹³ Там же, стр. 130.

чения слов и упорядочения их построения: звуковые изменения делают слова более короткими, а изменения по аналогии заменяют нерегулярные образования регулярными¹⁴. Как видим, Блумфилд возвращается к Г. Спенсеру, сводившему проблему экономии к укорочению слов и к вытеснению нерегулярных образований регулярными. Блумфилд не считался с той критикой подобной концепции, которую развернули уже младограмматики. Он прямо связывает «упрощение языка» с построением будущего искусственного языка. Этот последний представляется ученому как бы упрощенным естественным языком¹⁵. Глубокое качественное различие между любым естественным языком и любым искусственным языком, созданным для определенных целей, не принималось во внимание американским лингвистом.

Если в прошлые времена мысль о возможном «упрощении языка» обычно связывалась с разными проектами создания искусственного языка, то в наши дни аналогичная мысль поддерживается не только подобными проектами, но и опытами машинного перевода с одного языка на другой. Известно, что для осуществления таких опытов оба языка (с которого переводят и на который переводят) должны быть предельно простыми. Со сходными требованиями к языку выступает и кибернетика. Ее постулаты не допускают сосуществования разных значений в пределах одного слова, разных функций в пределах одной конструкции. Понятие различия оказывается «самым фундаментальным понятием кибернетики»¹⁶.

В прошлые годы предпринималась еще одна попытка обосновать принцип «экономии» языка ссылками на ...человеческую лень. В 1931 г. Е. Поливанов, анализируя разнообразие причины развития языка, писал: «И вот, если попытаться одним словом дать ответ относительно того, что является общим для всех этих тенденциях разнообразных..., то лаконичный ответ... будет состоять из одного, но вполне неожиданного для нас на первый взгляд слова: лень»¹⁷. Лень оказывается у Поливанова не только в основе «экономии» языка, но и в основе развития языка вообще. Люди лениятся говорить «по настоящему», в результате чего язык упрощается. Как ни отлична аргументация Поливанова от аргументации Мартине, оба ученых выдвигают универсальное понятие, которое будто бы и объединяет и объясняет все тенденции языка. У Поливанова это понятие называется ленью, у Мартине — экономией.

Совсем недавно со сходной аргументацией выступил западногерманский филолог Г. Вайррих. В книге под странным названием «Лингвистика лжи»¹⁸ он стремится доказать, будто язык, вследствие полифункциональности своей грамматической системы и многозначности своей лексики, не может адекватно выражать мысли и чувства людей. Поэтому и наука, изучающая естественные языки мира, оказывается «лингвистикой лжи»¹⁹.

Здесь вся проблема ставится с ног на голову. В лингвистической литературе разных стран давно уже доказано, что язык является самым верным, самым точным и самым могучим средством выражения человеческих мыслей и чувств именно вследствие своей полифункциональности и полисемии. Эти свойства языка придают самому языку ту объемность и многоплавность, без которых он не смог бы справиться со своими важнейшими общественными функциями. К этому вопросу еще придется вер-

¹⁴ Л. Блумфилд, *Язык*, М., 1968, стр. 559.

¹⁵ Там же, стр. 556—558.

¹⁶ У. Р. Эшби, *Введение в кибернетику*, М., 1959, стр. 23.

¹⁷ Е. Поливанов, *За марксистское языкознание*, М., 1931, стр. 43.

¹⁸ H. Weirich, *Linguistik der Lüge*, Heidelberg, 1966.

¹⁹ Там же, стр. 33—35.

нуться. Пока же отметим, что изучение «экономии» языка нередко приводило лингвистов к самым разнообразным, а иногда и к парадоксально-ошибочным выводам и заключениям.

Как видим, проблема «экономии» языка возникла давно. В истории языкознания наметились два основных ее истолкования: чисто количественное и более широкое, при котором «экономия» стала отождествляться с совокупностью «всех сил и тенденций» языка. В этом втором случае слово «экономия» лишалось своего основного значения, поэтому и правомерность его употребления стала весьма сомнительной.

Вопрос об экономии в языке вновь широко обсуждается за последние годы в связи с различными опытами применения математических методов в лингвистике. Об этом совсем недавно писал бельгийский лингвист Бюиссанс²⁰. И это понятно. Для представителей количественной лингвистики идеалом всякого естественного языка является такой язык, который опирается на принцип: «одно слово — одно значение, одно значение — одно слово». Об этом сейчас говорят многие, в том числе и участники коллективного исследования «Русский язык и советское общество»²¹. К сожалению, авторов подобных утверждений несколько не смущает, что во всех естественных языках мира наблюдается прямо противоположное соотношение: широкая многозначность слов и полифункциональность грамматических категорий. Оба эти свойства любого естественного языка определяются самой его природой и его функциями в обществе.

В самом деле. Обратим прежде всего внимание на известное положение об асимметричности языкового знака, установленное и описанное пражской лингвистической школой еще в двадцатые годы нашего столетия²². Сама идея асимметричности языкового знака выросла из наблюдений над сложностью отношений между обозначаемым и обозначающим. Люди всегда стремятся (сознательно и бессознательно) найти новые средства для номинации обозначаемого. Эти поиски обусловлены развитием языка в его связях с мышлением и окружающей человека действительностью. И хотя в двадцатые годы пражские лингвисты подчеркивали прежде всего коллизии, заложенные в самом языковом знаке, в его асимметричности, не менее существенны здесь и объективные противоречия, обусловленные развитием языка, стремлением говорящих людей ко все более полному и все более адекватному выражению мыслей и чувств.

Датский лингвист Отто Есперсен был безусловно прав, когда еще в 1925 г. отмечал, что принцип «одно слово — одно значение, одно значение — одно слово» превратил бы любой естественный язык в «адски неудобный» язык (возник бы «лингвистический ад»)²³. Подобный принцип, как и принцип, лишающий грамматические категории их полифункциональности, трансформировал бы язык в элементарное автоматическое устройство, совершенно непригодное для передачи сложнейшего духовного мира людей нашей эпохи.

Сказанное поясним примером. Из множества значений русского прилагательного *глубокий* выделим только два и представим их в виде двух разных слов: *глубокий* «имеющий значительное протяжение сверху вниз», например, *глубокий колодец*, и *глубокий* «серьезный, выдающийся», например, *глубокий мыслитель*. Теперь представим, что перед нами два разных слова,

²⁰ E. B u y s s e n s, Tautologies, «La linguistique», 1970, 2, стр. 37—45.

²¹ «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 121 («...в идеале каждому отдельному значению соответствует отдельный языковой знак в его материальном воплощении»).

²² S. K a r c e v s k i j, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, TCLP, 1, 1929, стр. 88—92.

²³ O. J e s p e r s e n, Mankind, nation and individual from a linguistic point of view, Oslo, 1925, стр. 89 и 119.

звучащие неодинаково и не соприкасающиеся по значениям. Каждое из этих двух воображаемых слов сейчас же лишится того объема, который свойствен одному многозначному прилагательному *глубокий* в живом русском языке. Если переносное значение *глубокий* (*глубокий мыслитель*) перестанет восприниматься на фоне его же пространственного осмысления (*глубокий колодец*), то «потухнет» и переносное значение, которое в естественном языке усиливается самым фактом взаимодействия различных значений, в нашем случае — физического (пространственного) и переносного. «Идеал» для искусственного языка (однозначность) действительно обернется «адом» для живого, вечно подвижного и постоянно обогащающегося естественного языка. Языки станут характеризоваться лишь одним количеством (число слов и категорий) и совершенно утратят свои сложные и объемные качественные категории. Языки превратятся в конструкции, «пухлые» по числу своих элементов и «тощие» по качеству этих элементов²⁴.

3. Синхронный материал

Против постулата «экономии» выступает не только теория, но и материал любого естественного языка.

В самом деле. Рассмотрим такую русскую фразу: *Тот большой свирепый лев, который вышел на арену цирка, удивил всех зрителей.* В этой фразе категория грамматического рода (мужской род) выражена семь раз. Несколько дальше мы сможем убедиться, что для построения аналогичного характера в других языках понадобится передать категорию рода не семь раз, как в русском, а меньшее или большее число раз. Однако от этого ни в одном языке аналогичная фраза не станет ни лучше, ни хуже. Чтобы понять, в чем здесь дело, надо обратить внимание на сложное взаимодействие «избыточных» и «неизбыточных» категорий в любом языке. Хотя взаимодействие подобного характера наблюдается в каждом естественном языке, на отдельных участках его системы оно обычно выражается иначе, чем в другом языке.

Известно, например, что модальность может передаваться и лексической семантикой определенных глаголов (типа *надеяться, желать, предполагать, сомневаться, стремиться* и пр.) и наклоном глаголов в придаточных предложениях (индикатив, конъюнктив и др.). В тех случаях, когда в одних языках литературная норма требует конъюнктива, модальность оказывается «избыточной» (она передается и лексически, и грамматически). В тех же языках, в которых конъюнктив в подобных случаях необязателен, «избыточность» не наблюдается. Но при этом невозможно сказать, что лучше: «избыточное» ли выражение модальности или выражение «неизбыточное» («экономное»). Понятие «экономии» не может иметь оценочного характера, не может свидетельствовать о лучшей или худшей организации системы языка. Здесь все определяется теми или иными историческими условиями сложения конкретных языков мира.

²⁴ Р. Карнап различает (см. его книгу «Философские основания физики», М., 1971, стр. 170—176) количественный язык науки и качественный язык нашей повседневной жизни. Чем более строго излагает человек свои мысли, тем ближе его язык к количественному принципу. По мнению автора, к качественному языку прибегают лишь тогда, когда хотят «выразить... чувства в письме к другу или в лирической поэме» (стр. 176). Не говоря уже о том, что Карнап весьма произвольно и вместе с тем наивно суживает сферу распространения качественного языка, сама проблема представляется гораздо сложнее: в количественном языке обычно имеется известная доза качественных элементов, подобно тому, как и качественный язык не обходится без элементов количества. Разумеется, количественный принцип очень важен и в гуманитарных науках. Весь вопрос, однако, в том, как он интерпретируется.

Обратимся к материалу и постараемся показать, что «экономия» часто видят там, где в действительности ее совсем нет. Для этой цели сначала проанализируем несколько предложений разговорного стиля русского языка.

Как начал работать — понемногу откладывал деньги на покупку «Москвича» > *Откладывал деньги на «Москвича»* > *Откладывал на «Москвича»*. Предложение типа *Как начал работать — понемногу откладывал на «Москвича»* обычно рассматривается как упрощенное предложение разговорно-просторечного стиля²⁵. Но там, где упрощение, там и «экономия». В действительности здесь нет ни того, ни другого. Если обратиться к последнему, казалось бы самому «экономному» предложению (*Откладывал на «Москвича»*), то нельзя не заметить, как осложняется семантика самого глагола *откладывать* в построениях подобного образца. Здесь *откладывать* выступает в особом значении «откладывать деньги», т. е. осмысливается иначе, чем в свободном употреблении. Предложение, короткое по длине и тем самым казалось бы более «экономное», оказывается семантически более сложным и тем самым менее «экономным», чем предложение длинное, но с неосложненной («ненапряженной») семантикой глагола *откладывать*.

Предложение разговорного стиля *Помогать брату по арифметике* предполагает фон более развернутого предложения *Помогать брату заниматься (готовиться) по арифметике*. Конечно, лицо, произносящее первое предложение, чаще всего не ощущает фона второго предложения. Первое построение ясно и само по себе. И все же лингвист обязан видеть дальше. Если более короткое предложение по существу осмысливается на фоне более длинного предложения, то первое не может рассматриваться как более «экономное», чем второе. Количественные отношения между словами осложняются отношениями качественными, не позволяющими говорить об экономии первого (короткого) синтаксического типа сравнительно со вторым (длинным) синтаксическим типом.

В связи с победой советских хоккеистов на чемпионате мира в 1971 г. в газете «Правда» была опубликована статья под названием «Одиннадцатикратные!» (2 IV 1971). Это предельно короткое название. Прочитав статью, читатели понимают, что речь идет здесь об «одиннадцатикратных чемпионах мира по хоккею с шайбой». Внешне (количественно) краткое и «броское» название не перестает быть сложным в семантическом (качественном) отношении. Одно слово с восклицательным знаком вбирает в себя значение целого предложения. Очевидны огромные выразительные возможности языка. «Короткое» слово выступает семантически и синтаксически «некоротким», многоплановым.

В военных текстах прилагательное *противолодочный* употребляется по отношению к средствам борьбы с подводными лодками противника. При этом не говорят *противоподлодочный*, а *противолодочный*. Многоморфемное прилагательное, теоретически возможное (*противоподлодочный*), практически сокращается, становится короче и казалось бы «экономнее» (*противолодочный*). Но став «экономнее» количественно (число морфем), прилагательное *противолодочный* осложняется качественно (семантически). Несмотря на формальную утрату морфемы *под*, *противолодочный* продолжает относиться не к лодкам вообще, а к *подводным* лодкам противника. Семантическая структура *противолодочный* тем самым осложняется: не имея морфемы *под*, слово «ведет себя» так, как будто бы эта морфема в его составе бытует.

²⁵ Н. Ю. Шведова, Активные процессы в современном русском синтаксисе, М., 1966, стр. 79.

Сторонники «экономии» обычно связывают понятие «экономии» с понятием дифференциальных тенденций в языке. Но между этими понятиями нет никакой связи. Больше того. Чем отчетливее выражены дифференциальные тенденции в языке (особенно в лексике, синтаксисе, стилистике), тем бессильнее «экономия» с ее принципом «поменьше», а не «побольше». В результате же дифференциации любых языковых категорий самих этих категорий становится обычно больше, а не меньше. И что особенно важно: разграниченные категории получают в языке более законные, апробированные нормой права, чем категории неразграниченные или недостаточно разграниченные.

Следовательно, если и устанавливается связь между понятием «экономии» и понятием лингвистической дифференциации, то подобная связь имеет обратный пропорциональный характер.

Как известно, в русском языке существуют многочисленные однокоренные слова с разным значением: *будний* и *будничный*, *вправить* и *выправить*, *героизм* и *геройство*, *глубинный* и *глубокий*, *двойной* и *двойственный*, *деловой* и *деловитый*, *надеть* и *одеть*, *освещение* и *освещенность*, *планировка* и *планирование*, *решимость* и *решительность* и сотни других²⁶. Здесь могут быть не только парные, но и более сложные противопоставления типа, например, *героизм* — *героика* — *геройство* и т. д. Историкам русского языка хорошо известно, что смысловые разграничения между словами такого характера установились не сразу: они формировались в процессе развития литературной нормы. Чем более строгими становились подобные разграничения, тем труднее стало обходиться без того или иного члена коррелирующей пары слов. Следовательно, дифференциация слов способствовала не «экономии», как обычно утверждают, а «узаконению» всех слов, входящих в отмеченные противопоставления. Слов делалось не меньше, а больше, причем каждое слово в самом процессе разграничения становилось все более и более нужным в системе языка. Легче пренебречь словом-дублетом, чем словом, морфологически и семантически сравнительно строго отделенным от его однокоренного образования.

Известно, что в истории самых разнообразных литературных языков количество синонимов неуклонно увеличивается. При этом наблюдается и параллельный процесс — постепенно устанавливаются все более строгие разграничения между ними (тоже дифференциальный процесс).

Французское прилагательное *venimeux* «ядовитый» употребляется вплоть до конца XVIII в. в таком же значении, как и прилагательное *véneux*. Затем между ними произошла дифференциация. Первое стало обозначать «ядовитый» по отношению к змеям и паукам, а второе — «ядовитый» по отношению к растениям. Дифференциация помогла обоим словам закрепиться в языке. Так же постепенно произошло разграничение семантики таких существительных, как *fleuve* и *rivière*. Первое теперь именуется «реку, впадающую в море», а второе — «реку, впадающую в другую реку». Разумеется, подобная дифференциация вовсе не обязательна для разных языков. Родственные итальянский, испанский и португальский языки, в частности, располагают для именованной реки по одному слову. Языки же, имеющие в своем фонде по два и более слов для номинации *реки*, теоретически в состоянии устанавливать дифференциальный признак между подобными словами по разным параметрам: величина реки (малые и большие реки), глубина реки (глубокие и мелкие), степень возможного производственного использования реки (судоходные и не-

²⁶ См., например, словарь «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. Составили Ю. А. Бельчиков и М. С. Панюшева», М., 1966; Н. П. Косинов, Словарь паронимов русского языка, Тбилиси, 1971.

судоходные) и т. д. Для цели моей статьи здесь существенно подчеркнуть лишь одно: дифференциация слов способствует увеличению словаря, а не его уменьшению. Поэтому дифференциацию ошибочно связывают с «экономией» языка.

До середины XVIII в. европейские языки не располагали словами, равными по значению современным *культура* и *цивилизация*. Со второй половины века Просвещения почти одновременно оформляется два новых слова (*культура*, *цивилизация*), между которыми в разных языках постепенно устанавливаются тонкие и сложные градации²⁷. Казалось «экономнее» было бы иметь по одному слову для выражения нового понятия. Многие же языки поступают иначе. В результате выигрывает человеческая мысль, стремящаяся ко все более глубокому осмыслению природы и общества.

Дифференциация, столь характерная для лексики в ее историческом движении, широко наблюдается и во всех других сферах языка.

Известный фонетист и фонолог Б. Малмберг показывает, что современная система гласных французского языка характеризуется двумя вокалическими подсистемами: одна из них, состоящая из 15 фонем, типична для строго литературной нормы, другая, состоящая из 10 фонем, наблюдается в разговорной и фамильярной речи. Здесь могут не различаться фонемы, противопоставление которых в литературной норме совершенно обязательно: например /*ẽ*/ — /*œ*/, *brin* «стебелек; хворостинка» и *brun* «коричневый»²⁸. Следовательно, большее число фонем определенного языка обычно успешнее справляется со своими коммуникативными функциями, чем меньшее число фонем того же языка. При меньшем числе фонем могут возникнуть недоразумения, вероятность появления которых резко уменьшается при большем количестве взаимнопротивопоставленных фонем. Дифференциация, оформляющаяся в лексике чаще всего диахронно, в фонетике и фонологии дает о себе знать прежде всего синхронно. Н. С. Трубецкой был совершенно прав, когда вслед за Л. В. Щербой выделял «различительную функцию» (*distinktive Funktion*) как важнейшую функцию в фонологии²⁹.

В синтаксисе дифференциация категорий наблюдается преимущественно в историческом развитии языка. Анализируя вслед за А. А. Потебней построения типа *он был купец* и *он был купцом*, Д. Н. Овсянко-Куликовский констатирует, что в древнерусском языке они употреблялись равнозначно. Позднее «... случилось здесь то, что всегда случается, когда в языке оказываются две равнозначные формы: одна из них была применена к выражению одного оттенка, другая — к выражению другого»³⁰. С определенной эпохи конструкция со вторым именительным падежом (*он был купец*) послужила для передачи постоянного признака, а конструкция с творительным (*он был купцом*) — для передачи переменного признака. В этом заключении исследователя лишь наречие «всегда» звучит слишком категорически («всегда случается»), хотя общая тенденция синтаксического развития, приводящая к смысловой дифференциации категорий, намечена вполне убедительно.

Итак, «экономия» и дифференциация — взаимноисключающие друг друга понятия.

²⁷ Во многих языках *цивилизация* чаще употребляется по отношению к прошлым эпохам в истории человечества, *культура* по отношению к более новым временам.

²⁸ B. M a l m b e r g, *Synchronie et diachronie* «X Congrès international des linguistes», Bucuręști, 1967, стр. 3 (отдельное издание доклада на конгрессе).

²⁹ N. S. T r u b e t z o u, *Grundzüge der Phonologie*, Wien, 1939, стр. 30 и 34.

³⁰ Д. Н. О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й, *Синтаксис русского языка*, 2-е изд., СПб., 1912, стр. 166.

4. Диахронный материал

Попробую теперь иначе поставить вопрос. Допустим, что принцип «экономии» действительно определяет развитие языка. В таком случае древние языки должны быть менее «экономными», чем языки новые. Если языки становятся «все экономнее и экономнее», то очевидно, что самый принцип «экономии» должен приобретать все большее значение в процессе развития тех или иных языков. Между тем в действительности это нигде не наблюдается.

Младограмматики в свое время установили, что синтаксис древних индоевропейских языков еще не умел передавать временную и пространственную перспективу. Архаичный синтаксис они сравнивали с древней живописью, мастера которой изображали предметы как бы в одной плоскости. Позднее об этом же стали писать и современные исследователи, стремясь уточнить время появления синтаксической перспективы в европейских языках.³¹

И. М. Тронский, в частности, приводил примеры из архаической и классической латыни: *Socrates letus venenum hausit*, буквально «Сократ радостный выпил яд» (а не *радостно* или *с радостью*); *adulescens didici я научился юноша*, т. е. «будучи юношей», «в юности»; *orator suavis est voce* «оратор приятен голосом», т. е. «голос оратора приятен» и т. д.³² Нужно заметить, что перспектива во времени выступала как решающий фактор в развитии синтаксической перспективы. Если перспектива в живописи больше зависела от перспективы в пространстве, то синтаксическая перспектива опиралась прежде всего на перспективу во времени и уже во вторую очередь — на пространственную перспективу. Но так или иначе все разновидности перспективы взаимодействовали между собой.

Можно ли сказать, однако, что древнее предложение типа *Сократ радостный выпил яд* было более «экономным», чем предложение *Сократ радостно* (или *с радостью*) *выпил яд*, характерное для языков нового времени. Разумеется, этого сказать нельзя. Невозможно утверждать и противоположное — будто бы построение второго типа «экономнее» построения первого типа. Все дело в том, что вполне допустимое в других отношениях сопоставление предложений подобных двух типов не допускает сопоставления с позиции «экономии». Предложение *Сократ + радостный + выпил яд* строится по принципу «нанизывания» членов предложения, чего не наблюдается в предложении иного образца, где наречие *радостно* выступает в функции характеристики глагольного действия (*радостно выпил*). Хорошо известно, что во всех индоевропейских языках гипотаксис возникает не только позднее паратаксиса, но и оказывается сложнее последнего. Языки двинулись от конструкций более простых к конструкциям более сложным. Поэтому, если обратиться здесь к принципу «экономии», то пришлось бы отождествить более сложное с более «экономным». Между тем «экономия» казалось бы должна упрощать, а не усложнять язык.

³¹ По мнению Д. С. Лихачева (см. его «Поэтику древнерусской литературы», Л., 1967, стр. 305) перспектива в живописи, как и перспектива во времени, возникают в России во второй половине XVII в. Материалы для других стран в сб. «История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли», 1, М., 1962, стр. 302, 539, 655. В этой связи весьма интересно суждение великого скульптора Огюста Родена. В своем «Завещании» он писал: «Вы, скульпторы, развивайте в себе понимание глубины. Ведь наш разум лишь с трудом воспринимает ее. Он представляет себе явственно только поверхности. Вообразить себе формы в их объемности он не в состоянии. Но именно в этом и заключается ваша задача» (цит. по кн.: Д. Вейс, Огюст Роден, М., 1969, стр. 557).

³² И. М. Тронский, Очерки из истории латинского языка, М.—Л., 1953, стр. 134.

В свое время С. Д. Кацнельсон показал, что древнеисландские построения типа *vit Gunnar* «мы оба Гунар», т. е. «мы оба, я и Гунар» нельзя рассматривать ни как построения эллиптические («экономные»), ни как построения плеонастические («неэкономные»)³³. Все дело в том, что мысль людей той эпохи двигалась иначе, чем мысль наших современников. В древних языках часть обычно подчинялась целому, тогда как в новых языках она может выступать и независимо от целого. Этим определяется и архаический характер отмеченных построений. Их отдаленные пережитки встречаются и в новых языках, например, *мы с тобой* в смысле «я с тобой», *мы с ним*, т. е. «я с ним». Ср. также во французском просторечии *pous deux mon homme*, буквально «мы оба и мой муж», т. е. «я с мужем», или «мы с мужем». И в этом случае, как и в предыдущих, различие между старыми и новыми оборотами определяется отнюдь не степенью их «экономности», а характером мышления людей разных исторических эпох, особенностями синтаксических структур языков на разных этапах их существования.

Попробуем, однако, подойти к конструкциям образца *vit Gunnar* с позиции «экономии». В этом случае в них можно найти что угодно: и «экономия» (в двух словах так много передано: «мы оба, я и Гунар») и антиэкономия (слово *vit* удивительно полисемантично, язык «расточительно» вкладывает в одно слово множество значений). Как видим, суждения такого рода сейчас же становятся дилетантскими.

Если бы «экономия» постепенно «наращивалась» в истории языка, то новые языки были бы экономнее старых языков. Факты, однако, опровергают подобное предположение.

Обратимся к историческому синтаксису французского языка и приведем два-три примера. При ближайшем рассмотрении оказывается, что старый язык часто «опускал» такие синтаксические звенья, без которых современный язык обойтись не может. В стихотворном тексте XIII в. «*La Chastelaine de Vergi*» (строки 342—343) читаем: *J'ai votre niece de Vergi et elle moi* «Я люблю вашу племянницу, а она — меня». По нормам современного аналитического языка так сказать невозможно. Согласно этим нормам, глагол непременно должен быть повторен после второго подлежащего: *et elle aime moi* «и она любит меня». Нормы аналитического языка «требуют» повторения глагола после второго подлежащего, хотя подобное повторение может показаться «неэкономным». Следовательно, проблема не в дилемме «экономия — неэкономия», а в строе языка, в синтаксических изменениях, совершившихся исторически.

Старый язык мог «пропускать» не только сказуемое, но и подлежащее. В этом же тексте постоянно встречается построения типа: *Il disoit qu'il ert toz miens et le disoit si doucement que le creoie vraiment* (строки 786—788) «Говорил, что он весь мой и говорил так тихо, что я ему действительно поверила». В оригинале я «пропущено» и только из контекста видно, о каком лице идет речь (сама форма *creoie* могла относиться и к первому и к третьему лицу). Старый язык поступал «экономнее» (пропуск подлежащего) нового языка (нет пропуска подлежащего), но от этого он не становился ни более ясным, ни более точным. Дело, следовательно, не в «экономии», а в строе языка на том или ином этапе его развития.

В этой связи нельзя не вспомнить старый спор о том, какие конструкции «проще и экономнее» — флективные или аналитические. «Простоту и экономность» обычно усматривают в аналитических конструкциях. Ут-

³³ С. Д. Кацнельсон, Историко-грамматические исследователи, М.—Л., 1949, стр. 75, 79, 110; см. также: Ю. С. Степанов, Французская стилистика, М., 1965, стр. 339—340. Из старых исследований, до сих пор сохраняющих все свое значение: Ф. Е. Корш, Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса, М., 1877.

верждают, что такие конструкции избавляют язык «от трудных и неэкономных флексий» и делают его «стандартным и современным»³⁴. Несмотря на популярность подобного рода концепции (обычно ее защищают более осторожно, с целым рядом оговорок), она представляется совершенно несостоятельной. Только что мы видели, в частности, что флективный строй старофранцузского языка был в определенном отношении более «экономным», чем аналитический строй современного французского языка.

Как известно, и в русском языке наших дней довольно широко представлены аналитические конструкции. Говорят, например, *проблема номер один* «вместо» *первая проблема*, *рейс три* «вместо» *рейс третий*, *в городе Калинин* «вместо» *в городе Калининне* и т. д. Сами по себе аналитические конструкции, взятые изолированно, кажутся «проще и экономнее» флективных конструкций. В системе языка, однако, это совсем не так. В определенных случаях, например, в разговорном стиле, можно сказать *в городе Калинин*, в письменном же изложении грамотного человека встретим *в городе Калининне*. Словосочетание *проблема номер один* возможно, но словосочетание *проблема один* (идеальное с позиции строгого аналитизма) невозможно, а *проблема одна* имеет уже совсем иной смысл, чем *первая проблема* или *проблема номер один*. Пределы аналитизма очерчены сравнительно четко. Вместе с тем аналитические конструкции создают новые возможности для дальнейшей дифференциации и дальнейшего усложнения синтаксического ряда. «Упрощение» отдельных конструкций сопровождается усложнением всего синтаксического ряда, усложнением дифференциальных возможностей языка.

Н. Ю. Шведова, недавно обратившая внимание на сходные явления, вместе с тем повторила старое утверждение, согласно которому язык «всегда стремится освободиться от дублетности»³⁵. Стремясь к разграничениям, язык, однако, известное время (нередко длительное) «терпит» дублетные формы с тем, чтобы позднее провести между ними дифференциацию. Дублетность — материал для дифференциации. Но дублетные формы обычно не сразу разграничиваются. Им надо некоторое время «побывать» в языке, чтобы дать ему возможность разобраться в самом этом материале.

Итак, утверждение, согласно которому старые языки менее экономны, чем новые, и что по мере развития языков они становятся все более «экономными», опровергается фактами, конкретным материалом разных языков (подобный материал легко можно расширить).

5. Межъязыковой материал

Но если «экономия» невозможно обнаружить в истории языка, то, быть может, она дает о себе знать в межъязыковых отношениях? Быть может одни языки «построены» экономнее, чем другие? Обратим внимание на межъязыковой аспект «экономии». Для этой цели проведем сравнительный анализ одного предложения на нескольких европейских языках: русск. *Моя единственная настоящая подружка*, англ. *My only real friend*, нем. *Meine einzige wirkliche Freundin*, франц. *Ma seule véritable amie*, итал. *La mia unica vera amica*, исп. *Mi única amiga verdadera*.

Обратим здесь внимание только на одну грамматическую категорию — рода. Как она выражается в одном и том же предложении, переданном на

³⁴ См. обзор разных мнений по этому вопросу в статье В. М. Жирмунского, опубликованной в сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М., 1965.

³⁵ Н. Ю. Шведова, О понятии синтаксического ряда, сб. «Историко-филологические исследования. К 75-летию акад. Н. И. Конрада», М., 1967, стр. 212—213.

шести различных языках? Сначала выделим полярные в этом отношении конструкции — английскую и итальянскую. В английском языке категория рода (в данном случае женского) здесь совсем о себе не заявляет: каждое из четырех английских слов, составляющих анализируемое предложение, не имеет никаких родовых признаков. В итальянском языке ситуация прямо противоположная: каждое из пяти итальянских слов (включая и артикль) имеет отчетливо выраженную форму женского рода и каждое из них в мужском роде имело бы другую форму. Следовательно, в итальянском языке в одном простом предложении категория рода передается пять раз подряд. В русском, как и в итальянском, каждое слово тоже выступает с родовым признаком, но самих слов оказывается здесь меньше, чем в итальянском. В испанском местоимение *mi* нейтрально по отношению к роду, а во французском ситуация гораздо сложнее: фонетически категория рода выражена только один раз (*ma*), а графически — три раза (*ma, seule, amie*). Как видим, различные языки неодинаково «расточительны» в способах передачи категории грамматического рода.

Что из всего этого следует? Что итальянский язык менее «экономен», чем, например, французский и, тем более, английский? Такое заключение не имело бы никакого научного значения, так как не исключало бы противоположного вывода. «Сплошное» выражение категории рода в каждом из пяти итальянских слов, входящих в анализируемое предложение, допустимо рассматривать не как «расточительное», а как «экономное»: в процессе коммуникации не надо задумываться о каком «настоящем друге» идет речь — о мужчине или о женщине. Как видим, принцип «экономии» широко раскрывает дверь для произвольных толкований. «Неэкономное» с одной точки зрения может показаться вполне «экономным» с другой точки зрения.

Индоевропейские языки знают противопоставление имен существительных по категории числа: единственное и множественное (другие возможные оппозиции в системе числа здесь не рассматриваются). Между тем китайский и японский языки к подобному противопоставлению прибегают лишь в исключительных случаях, когда возникает особая нужда подчеркнуть категорию числа. Обычно же лишь по контексту судят, о чем идет речь — об единственном числе или о множественном³⁶. Что же здесь «экономнее»: наличие категории грамматического числа или ее отсутствие? С одинаковым «успехом» можно доказывать и то, и другое.

С позиции «экономии» ничего нельзя объяснить и в сфере межъязыковых лексических отношений. Во французском языке некогда было два слова для обозначения «города» — *ville* и *cit*. Позднее второе существительное приобрело более специальное значение (ср. например, *cit universitaire* «университетский городок»). В современном русском языке *город* не имеет синонимов, а его церковнославянская форма *град* стала архаичной (ср. известные строки Пушкина: «красуйся град Петров»). К тому же диахронные отношения *ville* — *cit* совсем иные (здесь два разных слова), чем аналогичные отношения между *город* — *град* (этимологически одно слово). В немецком же языке *Stadt* «город» вообще не имеет синонимов. Три языка дают три разных решения вопроса о номинации *города* и невозможно сказать, какое из них «экономнее». Но вот немецкий язык располагает двумя существительными, выражающими понятие «заимствованное слово»: *Lehnwort* «заимствованное слово до XV в.», *Fremdwort* «заимствованное слово после XV в.». Ни русский, ни французский языки подобного разграничения не знают. Поэтому семантический объем рус-

³⁶ А. И. Иванов, Е. Д. Поливанов, Грамматика современного китайского языка, М., 1930, стр. 219; Н. И. Фельдман, Японский язык, М., 1960, стр. 31.

ского словосочетания «заимствованное слово» оказывается большим по сравнению с аналогичным объемом каждого из двух немецких существительных — *Lehnwort* и *Fremdwort*.

«Лишнее» («неэкономное») с позиции одного языка обычно предстает как необходимое с позиции другого языка. В современных европейских языках разграничение местоимений *ты* и *вы* используется, в частности, и в плане обращения: множественное число может выступать как «вежливое число». Однако английский язык постепенно утратил противопоставление *thou* — *you* «ты— вы». Тем самым местоимение *you* «вы» лишилось того противопоставления в обращении (*ты* — *вы*), которое столь характерно для большинства других европейских языков³⁷. Но стал ли от того английский язык более «экономным»? Ответ может быть только отрицательным. Изменилась лишь семантика местоимения *you*, которая стала более многоплановой, чем в те времена, когда оппозиция *thou* — *you* еще сохранялась. Современное английское *you* в обращении к одному лицу звучит и вежливо, и невежливо в зависимости от контекста, от интонации, от сочетания с другими словами и т. д. Утратив противопоставление *thou* — *you*, язык осложнил семантику оставшегося звена (*you*). Процессы подобного рода обычно не выходят за пределы отдельных языков. Само противопоставление *ты* — *вы* сохраняет прочные позиции во многих языках мира.

Нередко складываются такие отношения, при которых одна группа родственных языков пользуется одним словом для выражения одного понятия, а другая группа родственных языков — двумя словами для передачи того же понятия.

«Покидать пределы чего-либо» в русском языке часто передается глаголом *выходить*. Русское *он выходит* соответствует французскому *il sort*, испанскому *sale*, португальскому *sai*, итальянскому *esce*, румынскому *iese*. А вот в некоторых германских языках глаголы движения, обозначающие направление, обычно выражаются не с помощью одного, а с помощью двух слов. Французскому *il sort* «он выходит» в немецком соответствует *er geht hinaus*, а в английском *he goes out*³⁸. Означает ли сказанное, что романские языки «экономнее» германских языков? И в этом случае ответ может быть только отрицательным. Различие между двумя группами языков здесь определяется различной ролью приставок в истории каждой из этих групп. К тому же в плане общей грамматической системы английский язык как максимально аналитический (в пределах германской группы), казался бы, должен быть «экономнее», например, румынского как минимально аналитического (в пределах романской группы). Между тем в английском выступают два слова, а в румынском — одно слово. «Экономное» в одном ракурсе предстает как «неэкономное» в другом ракурсе. С этим явлением мы уже встречались и раньше.

Межъязыковые соответствия точно так же опровергают принцип лингвистической «экономии», как и отношения внутри отдельных языков.

6. Еще о теории

Теперь можно вернуться едва ли не к центральному вопросу и спросить: на какие теоретические положения опирается теория языковой «экономии»?

³⁷ К. Бруннер, История английского языка, 2, М., 1956, стр. 103—105 (противопоставление *thou* — *you* встречается еще у Шекспира).

³⁸ М. Wandruszka, Sprachen vergleichbar und unvergleichlich, München, 1969, стр. 461.

Часто рассуждают так: в своем историческом развитии язык движется от конкретного к абстрактному, конкретное и «дробное» менее «экономно», чем абстрактное и обобщенное. Следовательно, само развитие языка от конкретного к абстрактному определяет рост и усиление «экономного» принципа на всех уровнях языка. Иногда же причину и следствие «переворачивают»: так как язык становится все более «экономным», то тем самым он движется от конкретного и «дробного» к абстрактному и обобщенному.

В самом общем плане утверждение о том, что языки развиваются от конкретного к абстрактному не вызывает возражений. Об этом давно и много писали самые различные ученые. Но, во-первых, связано ли подобное развитие с «экономией», и во-вторых, ослабляет ли абстракция способность каждого языка передавать богатейший мир конкретных представлений — все это уже гораздо сложнее и нуждается в особом рассмотрении.

Не выходя за пределы индоевропейских языков, отметим, что многие лингвисты не обнаруживают у них на древних этапах их бытования способности передавать абстрактные категории. М. И. Стеблин-Каменский, например, совсем недавно писал: «Современному человеку непременно хочется находить общие понятия у людей прошлых эпох там, где были только более частные понятия. Из данных древнеисландского языка очевидно, что у людей, говоривших на этом языке, не было понятия „убийства вообще“. Были только понятия об убийствах определенного характера»³⁹. Далее автор показывает, как следует понимать подобные «частные убийства» (из долга мести, из особо понятой чести и т. д.). Исследователь подчеркивает, что недопустимо переносить современные понятия мести, долга, чести, зла, души и другие в эпоху XIII—XIV вв., от которой дошли до нас рукописи исландских саг. Только такая концепция (не переносить современное в прошлое) представляется М. И. Стеблину-Каменскому исторической.

Спору нет. В историческом исследовании каждое понятие должно анализироваться исторически. Неправоммерно транспонировать в средние века современные представления о долге и чести, разуме и чувстве и т. д. Но соблюдая историческую дистанцию и констатируя нетождественность понятий разных эпох, нельзя на этом основании лишать старые языки всякой способности к обобщениям и к абстракциям. Люди средних веков, как и языки того времени, умели обобщать по-своему, в пределах своего миропонимания и своих возможностей. Не следует забывать и другого: всякий язык обобщает, всякий язык стремится, в меру степени своего развития, передать не только конкретное (*этот* предмет, *это* чувство), но и обобщенное (предметы, чувства и пр.). В той же книге М. И. Стеблина-Каменского показано, что не умея оперировать еще, в частности, с понятием «убийства вообще», создатели древних исландских саг уже знали свои абстрактные категории: месть могла вызываться разными причинами и совершаться неодинаково, поэтому понятие «убийство из долга мести» уже обобщало известные случаи отдельных, как бы более частных поступков.

Следует противопоставлять не абстрактные категории современных языков конкретным категориям средневековых и других старых языков, как это обычно делают, а разные типы абстракции и разные типы передачи конкретных представлений в те или иные эпохи жизни анализируемых языков.

³⁹ М. И. Стеблин-Каменский, Мир саги, Л., 1971, стр. 83.

К тому же сама абстракция вовсе не всегда «экономна». В неоконченном сочинении «Кто мыслит абстрактно?» Гегель показывает, что есть различные виды и типы абстракции, некоторые из которых могут быть и примитивными. «Ведут на казнь убийцу. Для толпы он убийца, и только. Дамы заметят, может статься, что он сильный, красивый, интересный мужчина. Такое замечание возмутит толпу: как так? убийца — красив?» И несколько дальше: «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! — говорит покупательница торговке. — Что, — кричит та, — мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая!»⁴⁰.

Гегель убедительно показывает полную несостоятельность подобного рода абстракций (обобщений). В сознании торговки покупательница сейчас же становится «тухлой», как только самой покупательнице предлагаемый товар покажется тухлым. Убийца может быть только убийцей, поэтому физическая красота к нему не пристала и т. д. Подобные абстракции оказываются мертворожденными, а в лучшем случае — «тощими».

Известно, что классики марксизма считали, что история «предметов» обычно движется от конкретного к абстрактному. Теоретическое мышление, однако, обычно исходит из абстрактного, чтобы затем раскрыть всю сложность и многоплановость конкретного объекта (объектов) исследования. Известно также, что именно такой метод был применен К. Марксом в его «Капитале». Поэтому В. И. Ленин подчеркивал: «Нельзя вполне понять „Капитала“ Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв *всей* Логике Гегеля»⁴¹.

Сказанное имеет отношение и к лингвистической теории. Соотношение между конкретным и абстрактным в истории разных языков нередко изображается прямолинейно и упрощенно как одностороннее движение от конкретного к абстрактному. Реальная картина гораздо сложнее. Даже история семантики слов, где, казалось бы, все определяется постулатом «от конкретного к абстрактному», в действительности гораздо сложнее.

Совсем недавно Э. Бенвенист показал, что, ставший уже хрестоматийным, пример индоевропейского развития *resci* (*rescinia*) от значения «скот» к значению «богатство» в трех группах индоевропейских языков, где сохранилось это слово (в индоиранской, италийской и германской), долго трактовался неверно. Тщательное изучение материала показало, что *resci* в значении «богатство» оказалось более старым, чем в значении «скот». Исследователь предложил «перевернуть» соотношение двух центральных исторических значений этого слова⁴². Проблема представляется мне сложнее. Не исключена возможность, что в архаичном сознании само значение «богатства» мыслилось более предметно, чем теперь: это было «богатство», как бы ориентированное «на поголовье» (владение большим или меньшим поголовьем). Категория абстрактного в языке, как и категория конкретного, оказывается, таким образом, категорией строго исторической.

А. А. Потебня был глубоко прав, когда подчеркивал: «Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»⁴³. Перефразируя эти слова замечательного филолога, можно то же сказать о соотношении рационального и чувственного в языке. Чем

⁴⁰ Цит. по кн.: А. В. Гулыга, Гегель («Жизнь замечательных людей»), М., 1970, стр. 82—83.

⁴¹ В. И. Ленин, Философские тетради, М., 1969, стр. 162.

⁴² E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes, I, Paris, 1969, стр. 47—52.

⁴³ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, Харьков, 1888, стр. 355.

больше развивается способность языка передавать рациональные основы человеческого мышления, тем очевиднее выступает не менее важное умение языка выражать чувственное восприятие человека. Лермонтовское «погружаясь в *голодный кипяток* нарзана» («Герой нашего времени») — это не только метафора, но общая особенность языка, его сила, позволяющая проникать в многообразный мир чувственного восприятия. Все языки на всех этапах своего исторического существования всегда умели выражать конкретное и отвлеченное, рациональное и чувственное. Но в разные эпохи с этой задачей они справлялись неодинаково. Развитие любого языка совершенствует его же способности передавать все более адекватно и все более многообразно весь сложный мир значений, категорий и отношений.

Попытаюсь теперь резюмировать сказанное:

1. Ни развитие, ни функционирование языка не определяются принципом «экономии», так как любой живой естественный язык пополняется все новыми и новыми средствами выражения, новыми «приемами» коммуникации.

2. «Экономию» недопустимо смешивать с различными процессами лингвистической дифференциации, в результате которых разграниченные категории начинают занимать в языке более прочные позиции, чем категории неразграниченные; устранение (выпадение) неразграниченных категорий совершается обычно легче, чем категорий разграниченных; дифференциация расширяет ресурсы языка, а не суживает их.

3. «Экономию» неправомерно отождествлять с регулярностью системы языка, так как подобная регулярность обычно опирается на сложные и нередко противоречивые тенденции языка. «Неэкономное» спряжение так называемых неправильных глаголов сочетается с их регулярностью в каждом отдельном случае и с их устойчивостью в литературной норме.

4. «Экономию» нельзя отождествлять с выразительными возможностями языка, которые предполагают многообразие и выбор средств самого языка; «экономию» склоняет свою «голову» перед самим фактом непрерывного увеличения синонимических рядов (лексических, синтаксических, стилистических).

5. «Экономия» не может существовать ни за счет рационального, ни за счет абстрактного, так как в самом языке рациональное всегда представлено во взаимодействии с чувственным, а абстрактное — с конкретным.

6. «Экономия» как будто бы может коснуться отдельных звеньев языка (аббревиатуры), которые, однако, перестают быть «экономными» в системе языка; сама «экономию» предполагает изолированный анализ отдельных «черточек» языка.

7. «Экономию» нельзя относить к языку в его противопоставлении к речи, где «царствует избыточность». Ранее было показано, что «избыточность» таких категорий, как, например, род и число, проникает не только в речь, но и в язык. «Экономное» с позиции одного языка может предстать как «избыточное» с позиции другого языка.

8. Из всего сказанного следует, что понятие «экономии» языка и понятие прогресса языка — это совершенно различные понятия. Прогресс языка в конечном счете определяется непрерывно растущими возможностями человеческого мышления, «экономию» же языка — той или иной коммуникативной ситуацией, удобной в одних случаях и неудобной в других. Поэтому понятие «экономию» не имеет никаких оснований считаться «синтезом действующих в языке сил», тем более — результатом лени, как это до сих пор предполагают отдельные ученые.

За последние два десятилетия лингвисты очень часто отделяли язык

от человека. Между тем язык неотделим от человека. С позиции машинно-технических критериев сам человек может показаться «сплошным излишеством». В нем слишком много «деталей», как будто бы «ненужных» для выполнения той или иной операции по жестко запрограммированной схеме. Но сила человека в его универсальности⁴⁴. То же следует сказать и о человеческом языке. Именно поэтому язык не подчиняется «закону экономии», как не подчиняется ему и сам человек. Разумеется, человек может, а иногда и обязан выполнять ту или иную работу «экономно». Природа же человека всегда будет характеризоваться универсальностью. Поэтому и человеческий язык универсален по своей природе и безграничен в своих реальных и потенциальных возможностях.

⁴⁴ См. об этом: Э. В. Ильенков, *Об идолах и идеалах*, М., 1968, стр. 289—290.